

Мадлен Миллер
Песнь Ахилла



ΜΑΔΛΕΗ
ΜΙΛΛΕΡ



ΠΕΣΗΝ
ΑΧΙΛΛΑ

Перевод с английского
Анастасии Завозовой



издательство **ACT**
Москва

Г Л А В А П Е Р В А Я

Мой отец был царем и сыном царей. Росту он был невысокого, как почти все мы, и сложен по-бычьему — сплошные плечи. Он взял в жены мою мать, когда той было четырнадцать, и жрица поклялась, что чрево ее плодородно. Брак был выгодным: у нее не было ни братьев, ни сестер, все, чем владеет ее отец, достанется мужу.

Он до самой свадьбы не знал, что она дурочка. Ее отец осторожничал, не позволял ей открывать лица до самой церемонии, и мой отец с ним не спорил. Если невеста окажется безобразной, всегда есть рабыни и мальчишки-прислужники. Говорят, что, когда с нее наконец сняли покрывало, моя мать улыбалась. Вот как все узнали, что она глупа. Ведь невесты никогда не улыбаются.

Когда родился я, сын, отец выхватил меня у нее из рук и отдал кормилице. Повитуха, сжалившись над матерью, вместо меня дала ей подержать подушку. Мать прижала ее к себе. Она как будто и не заметила подмены.

Отец быстро во мне разочаровался: мал, тщедушен. Я не был сильным. Не был проворным. Не умел петь. Все, что можно было обо мне сказать хорошего, — я не болел. Хвори и колики, терзавшие моих сверстников, обходили меня стороной. Но у отца это вызывало лишь подозрения.

Может, я и не человек вовсе, подменьш? Он хмурился, глядя на меня. Под его взглядом у меня тряслись руки. По подбородку у матери тоненькой струйкой стекало вино.

Мне пять лет, когда настает очередь отца быть распорядителем игр. Люди съезжаются с самой Спарты и Фессалии, наши кладовые ломятся от их золота. В течение двадцати дней сотня слуг вытаптывает беговую дорожку, расчищает ее от камней. Отец намерен устроить лучшие игры своего времени.

Больше всего мне запомнились бегуны: их орехово-коричневые тела умащены маслом, они разминаются на дорожке, под палящим солнцем. Все смешались, широкоплечие мужи, безбородые юнцы и мальчишки, икры густо оплетены мышцами.

Быка закололи, тот истек кровавой пеной в пыль и темные бронзовые чаши. На смерть он пошел спокойно — добрый знак для грядущих игр.

Бегуны собираются у помоста, где мы с отцом сидим в окружении наград, которые потом вручим победителям. Тут золотые чаши, в которых разбавляют вино, кованые бронзовые треножники, ясеневые копья, увенчанные драгоценным железом. Но главная награда у меня в руках: венок из свежесрезанных пыльно-зеленых листьев, заблестевших там, где я потер их пальцем. Отец отдал мне его крепя сердце. Он успокаивает себя: мне нужно его держать, только и всего.

Самые юные бегут первыми, и мальчишки возят ногами по песку, дожидаясь, когда жрец кивнет им. Они только начали расти, кости острыми веретенами проступают под туго натянутой кожей. Среди десятка темных взлохмаченных макушек я вдруг вижу светлую. Тянусь вперед, чтобы получше разглядеть. Волосы медово сияют под солнцем, а в них покачивается золото — венец царевича.

Он ниже своих сверстников, еще по-детски круглощекий, не то что другие мальчишки. Волосы у него длинные, перевязанные кожаным шнурком, пылают на его нагой темной спине. Когда он оборачивается, лицо у него серьезное, как у взрослого мужа.

Когда жрец ударяет оземь, он проскальзывает мимо неповоротливых старших мальчишек. Бежит легко, пятки мелькают розовыми язычками. Он приходит первым.

Я не свожу с него глаз: отец берет венок, лежащий у меня на коленях, увенчивает им победителя, на его ярких волосах листья кажутся почти черными. Его уводит отец, Пеллей, гордый, улыбающийся. Царство Пелея меньше нашего, но, говорят, он женат на богине и народ любит его. Мой отец глядит на него с завистью. Его жена глупа, а отпрыску не по силам состязаться даже с самыми юными бегунами. Он поворачивается ко мне:

— Вот каким подобает быть сыну.

Без венка мне некуда деть руки. Я смотрю, как царь Пеллей обнимает сына. Мальчик подкидывает венок и затем ловит его. Он смеется, разругавшись от победы.

Кроме этого, я мало что помню из той моей жизни, одни лишь разрозненные образы: хмурый отец, сидящий на троне, моя любимая игрушка — искусно сработанная лошадка, мать на берегу моря, вперившая взор в сторону Эгейских островов. В этом, последнем, воспоминании я, чтобы порадовать ее, швыряю голыши, которые — шлеп, шлеп, шлеп — скользят по покрову моря. Ей, кажется, нравятся круги, что расходятся по воде, снова становясь гладью. А может, ей нравится само море. Звездчатый шрам у нее на виске горит белым, будто кость, — это отец однажды ударил ее рукоятью меча. Она зарылась ногами в песок, торчат одни пальцы, и я осторожно обхожу их, пока ищу камешки. Выбираю один, швыряю его, радуясь, что хоть это у меня получается. Это един-

ственное мое воспоминание о матери, и оно до того золотое, что я почти уверен, будто его выдумал. В конце концов, отец вряд ли позволил бы нам остаться вдвоем наедине, своему глупому сыну и еще более глупой жене. Да и где это мы? Я не узнаю ни берега, ни береговой линии.

Столько воды с тех пор утекло.

Г Л А В А В Т О Р А Я

Царь призвал меня к себе. Помню, до чего ненавистным казался мне долгий путь по бесконечному тронному залу. У каменного изножья трона я преклонил колени. У иных царей на этом месте лежал ковер, сюда вставали коленями гонцы, которым предстояло о многом доложить. Но мой отец был не из их числа.

— Царь Тиндарей наконец выдает дочь замуж, — сказал он.

Мне было знакомо это имя. Тиндарей был царем Спарты и владел огромными угодьями плодороднейших земель, которые были предметом зависти моего отца. Знал я и о его дочери — по слухам, во всех наших царствах не найти было женщины красивее. Говорили, что ее мать, Леду, силой взял сам повелитель богов Зевс, явившись ей в образе лебедя. Девять месяцев спустя ее чрево разродилось двумя парами близнецов: Клитемнестрой и Кастором, детьми ее смертного мужа, Еленой и Полидевком, блистательными чадами бога-лебедя. Но из богов, как известно, выходят на редкость плохие родители; разумеется, отцом всем четверым должен был стать Тиндарей.

Я ничего не ответил на отцовскую весть. Такие новости для меня ничего не значили.

Отец откашлялся, звук разнесся по пустынному залу.

— Нам хорошо бы с ней породниться. Ты поедешь просить ее руки.

В зале больше никого не было, мой перепуганный резкий выдох услышал только отец. Но я уже понимал, что лучше будет промолчать. Отец и без того знал, что я могу сказать: что мне девять лет, что я невзрачный, никудышный, неинтересный.

Мы отправились в путь на следующее утро, дорожные сумы были до отказа набиты дарами и съестными припасами. Нас сопровождали воины в парадных доспехах. Дороги я почти не помню — мы ехали посуху, мимо ничем не примечательных селений. Возглавлявший процессию отец отдавал все новые и новые распоряжения помощникам и гонцам, которые тотчас же разъезжались на все стороны. Я разглядывал кожаные поводья, приглаживал ворсинки большим пальцем. Я не понимал, что я здесь делаю. Умом я не мог этого постичь, как и почти всех поступков отца. Мой ослик покачивался из стороны в сторону, и я покачивался вместе с ним, радуясь какому-никакому развлечению.

Мы не первыми приехали свататься к дочери Тиндарея. В конюшнях было не протолкнуться: мулы, лошади, снующие туда-сюда слуги. Отец был недоволен оказанным нам приемом, я видел, как он, хмурясь, провел рукой по камням над очагом в наших покоях. С собой из дому я привез игрушку, лошадку, у которой двигались ноги. Я подымал за копыто одну ногу, потом другую, воображая, что ехал не на осле, а на лошади. Один воин сжалился надо мной и дал мне свои игральные кости. Я кидал их до тех пор, пока за один бросок не выпали все шестерки.

Наконец настал день, когда отец приказал выкупать меня и причесать. Он велел мне переодеть хламиду, затем — надеть другую. Я повиновался, хоть мне и казалось, что между пурпурной с золотом и багряной с золотом хламидами нет никакой разницы. Моих шишковатых коленей не прикры-

вала ни та ни другая. Отец выглядел суровым и властным, черная борода наотмашь рассекала лицо. Дар, что мы привезли Тиндарею, стоял наготове: золотая чаша для смешивания вина, на которой была отчеканена история царевны Данаи. Зевс соблазнил ее, явившись ей ливнем золотого света, и она родила ему Персея, Горгоноубийцу, который лишь Гераклу уступал среди героев. Отец вручил мне чашу.

— Не посрами нас, — сказал он.

До того, как увидеть парадную залу, я ее услышал: сотни голосов ударились о каменные стены, звенели кубки и доспехи. Слуги распахнули все окна, чтобы стало потише, завесили ткаными коврами — вот уж воистину богатый дом — все стены. Я никогда не видел столько людей под одной крышей. Не людей, поправил я себя. Царей.

Нас призвали к распорядителю, усадили на скамьи, усталые коровьими шкурами. Слуги сливались со стенами, с тенями. Отец крепко держал меня за ворот — мол, сиди смирно, не ерзай.

Над залой витал раздор, ведь на одну награду притязало столько героев, царей и царских сыновей — впрочем, мы умели делать вид, будто не чужды какой-никакой культуры. Один за другим они называли себя, эти юноши, похваляясь блестящими волосами, тонкими станами и одеждой, выкрашенной в дорогие цвета. Многие приходились богам сыновьями или внуками. О деяниях каждого была сложена песня, и подчас не одна. Тиндарей приветствовал всех по очереди, принимал дары, куча которых росла в центре залы. Каждому он давал слово, каждый мог заявить о своих притязаниях.

Мой отец был старше всех, кроме одного мужа, который, когда подошла его очередь, назвался Филоктетом. “Товарищ Геракла”, — прошептал кто-то рядом, и мне понятно было благоговение, прозвучавшее в его голосе. Геракл был величайшим нашим героем, а Филоктет — ближайшим его

соратником, единственным из доселе живущих. Седовласый, толстые пальцы — сплошные жилы, и эта их жилистая ловкость выдавала в нем лучника. И вправду, не прошло и минуты, как он воздел к потолку лук, огромное которого мне в жизни не доводилось видеть, из отполированного до блеска тиса, с рукоятью, обмотанной львиной шкурой.

— Лук Геракла, — провозгласил Филоктет, — который он подарил мне перед смертью.

В наших краях лук считался оружием трусов. Но никто не осмелился бы сказать такое об этом луке; стоило нам представить, какая сила потребуется, чтобы его натянуть, как в нас поубавилось спеси.

Тут заговорил следующий муж, с накрашенными, будто у женщины, глазами:

— Идоменей, царь Крита.

Он был строен, и когда поднялся с места, стало видно, что волосы доходят ему до пояса. Его даром было редкое у нас железо, обоюдоострый топор.

— Знак моего народа.

Своими движениями он напомнил мне танцоров, которых так любила мать.

За ним — Менелай, сын Атрея, сидевший подле своего грузного, медведеподобного брата Агамемнона. Волосы у Менелая были ослепительно рыжими, цвета раскаленной в горниле бронзы. Сильное тело ярилось мускулами, самой жизнью. Он привез богатый дар, прекрасно выкрашенную ткань.

— Хоть дева и не нуждается в украшениях, — улыбаясь, прибавил он.

Красиво сказал. Я жалел, что не умею выразиться так же остроумно. Среди всех собравшихся я был единственным, кому было меньше двадцати и кто не возводил свой род к богам. Светловолосый сын Пелея, наверное, был бы тут на своем месте, думал я. Но отец оставил его дома.